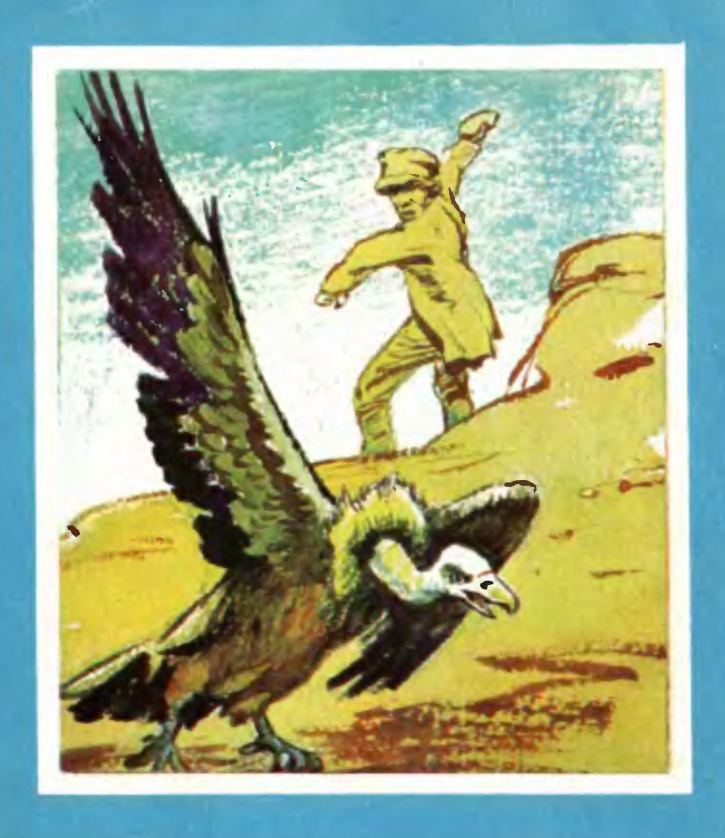
КНИГА ЗА КНИГОЙ



С. Н. Сергеев-Ценский

АРАКУШ

Издательство
„Детская литература“



С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

АРАКУШ

Рассказы

Москва
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1984

Р2
С32

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие и составление Р. Красновской

Рисунки Г. Юмагузина

Сергеев-Ценский С. Н.

С32 Аракуш: Рассказы/Сост. и предисл. Р. Красновской; Рис. Г. Юмагузина. —М.: Дет. лит., 1981.—48 с., ил.—(Книга за книгой).

10 к.

В книгу вошли рассказы Сергея Николаевича Сергеева-Ценского «Аракуш» и «Гриф и Граф».

С $\frac{4803010101-472}{М101(03)84}$ **Без объявл.** **Р2**

С. Н. Сергеев-Ценский

С семи лет он писал стихи, рисовал, лепил из глины. А в одиннадцать лет отважился написать повесть. Показал её отцу. Отец, не дочитав до конца, бросил тетрадь в печь и объяснил потрясённому автору, что складно писать может всякий грамотный человек, но «надо писать так, как всякий-то не напишет... Не дорос ты ещё до прозы, может быть, только через десять лет дойдёшь...»

Началом своей литературной деятельности писатель считал 1898 год, когда были опубликованы его первые рассказы.

Родился Сергей Николаевич Сергеев 30 сентября 1875 года в селе Преображенском, Тамбовской области. Закончив училище при учительском институте в Тамбове, а затем учительский институт в небольшом городе Глухове, Сергеев покидает родные места. Но навсегда увезёт он с собой любовь к лесам, безбрежным полям, птицам — ко всей тамбовской земле.

«Поля мои!.. Детство моё, любовь моя, вера моя! Смотрю на вас, на восток и на запад, а в глазах туман от слёз. Это в детстве, что ли, в зелёном апрельском детстве, вы глядели на меня таким бездонным взором, кротким и строгим!..» — так напишет Сергеев в поэме «Печаль полей». В память

о реке Цне, на берегах которой прошло его детство, Сергей Николаевич Сергеев возьмёт себе псевдоним — Ценский.

Все произведения писателя публиковались под фамилией Сергеев-Ценский.

Несколько лет Сергеев-Ценский работал учителем в разных городах, много путешествовал, бывал в самых отдалённых уголках страны. Все волшебные краски земли, моря и горы, леса и поля, птицы и звери, которых писатель умел понимать и слушать, оживут в его произведениях. И конечно, люди — взрослые и дети — со своими радостями, несчастьями и с поиском редкостной птицы, имя которой — Аракуш. Рассказал об Аракуше девятилетнему мальчику старик Авдеич, известный всему городку птицелов.

«А узнать его как?.. Какой он, ара-куш?.. А?» И с этого дня затосковал мальчик по птице небывалой, чью гордую грудку украшали «лента красная, лента синяя, лента муар», а пение затмило затейливые трели самого соловья. И вот однажды, в густом бурьяне на окраине города... О том, что произошло в этот день, вы узнаете из рассказа С. Н. Сергеева-Ценского «Аракуш».

Р. Красновская



АРАКУШ

Мне было тогда девять лет, когда я величайшую страсть возымел к голубям и певчим птицам и познакомился ради этого с Авдеичем, голубятником и птицеловом.

Очень отчётливо я его помню: коротенький старик, щёки розовые, как яички на пасху, бородка белая, прямая, в обвис, глаза очень внимательные, иззелена-светлые (у пекинских рыжих уток бывают такие), в движениях был довольно проворен, но на слова скуп, и если шутил даже, то совершенно спокойно, без тени улыбки.

Бывало, вызывают его:

— Авдеич!.. А, Авдеич!

Из окна на улицу два слова:

— Иду, бегу!

Подождут и снова:

— Авдеич!.. Ты что же там?

— Скачу, лечу!

Ещё подождут и уж недовольно:

— Да докуда же ждать-то?.. Авдеич!

— Прыгаю!

И сквозь очень щедро от пола до потолка развешанные всюду клетки пробирается наконец к окну Авдеич.

— Насчёт чего?

— Голубя нашего не ты загнал?

Авдеич жил «на Пушкарях», то есть в слободе Пушкарской — часть нашего города наиболее первобытная,— и здесь много было весьма яростных голубятников.

— Голубя?

— Ну да, голубя, а то кого же!

— Какого голубя?

— Обыкновенно какого... Какие бывают-то? Турмана красного.

— Вчерашний день?

— Ну да, вчерашний, а то когда же?...

Пекинскоутиными глазами своими внимательно рассматривает Авдеич стоящего у окна — сапожника ли Хряпина, большого пьяницу, слесаря ли Носенкова, длинного малого с запачканным носом и в фартуке чрезвычайно грязном, или ещё кого из тоскующих по красном турмане, и говорит спокойно:

— Рупь.

Это у Авдеича была цена непреклонная; её знали и без рубля в кармане к нему не шли.

Любопытно было, что пушкари и стрельцы, жители другой нашей слободы — Стрелецкой,— народ, в общем, буйный и пьяный, любители кулачных боёв и вообще всяких побоищ, держались каких-то своих неписаных законов насчёт голубей.

По вечерам, с тряпицами на шестах, они только тем и занимались в летнее время, что выпускали



и гоняли голубей, воинственно свистя на своих крышах.

Голубиные стаи над стрельцами и пушкарями (потомками всамделишных пушкарей и стрельцов времён царя Алексея) взвивались еле глазу видно — там, в вышине, парили, и купались, и ныряли, кувыркались и комьями, как ястреба, падали вниз; и были среди них свои, всем известные, короли высоты полёта, и короли парения, и короли спуска.

Помимо того, особенно восхищали нас и особенно всеми ценились винтовые, те, которые набирали высоту страшную и оттуда вниз шли винтом — по спирали, равномерно кувыркаясь и заставляя ахать и вскрикивать всех этих милых людей с шестами.

Но в вечера голубиные не только были умиление и восторг, соревнование и задор,— тут была ещё и охота, почти война.

Голубиные войска вверху, в небе, и их командиры внизу, на крышах, и целью всех очень сложных манёвров их и отчаянного свиста в два пальца и махания тряпкой являлось то, чтобы в наступающей темноте на твою крышу вместе с твоей стаей сел отбитый чужак.

Эта военная добыча считалась вполне законной, брать её силой не полагалось; хороший тон голубятников презирал в таких случаях даже и ругань; признавалось только одно: если принесли за голубя выкуп, то задерживать его было уж нельзя.

У кого мог я, девятилетний, покупать голубей? Всё у тех же, конечно, пушкарей и стрельцов; и когда я пытался тоже воинственно размахивать шестом на своей крыше и свистать в два пальца, мои голуби исправно летели на свои старые голубятни.

С голубями у меня не вышло, зато тем сильнее пристрастился я к синицам, щеглам, перепёлкам, которых кто же мог у меня отбить?

Прошло много лет с того времени... Кажется, четверть века уж я не видал берёзок, осинок, ёлок. Теперь они представляются мне в каком-то неразборчивом тумане, как на картинах Клода Моне[1].

Тогда ходил я с Авдеичем осенью именно в эти берёзки, осинки, ёлки с западками[2] и лучками[3] ловить глушек, гаек, лозиновок.

Время смыло, конечно, все яркие краски с тех переживаний, но какое всё-таки невнятно-радостно-звенящее осталось в памяти!.. Не передашь, ни за что не передашь!..

Сухими и тёплыми ещё осенними утрами, когда воздух гуще и земля строже и виднее чернобыл[4] на межах[5], когда ближе к опушке придвигались черноголовые монашенки-гайки и глушки с сизыми щёчками, но тоже в чёрных шлычках, и синицы-лазоревки, очень длиннохвостые, белые с лазурью, пушистые, торжественно наряжённые, как на свадьбу или на бал,— так было неслыханно-радостно проснуться в воскресенье на самой заре, чуть щели покажутся в ставнях, кое-как одеться, захватить то, что приготовлено ещё с вечера, выскользнуть из дому так, чтобы и не разбудить никого, и потом, по сонной ещё улице, бежать к Авдеичу, постучать в его окошко с надворья и услышать отчётистое:

— Че-час!

А не больше чем через час мы с ним в лесу.

Души детей, как и души художников,— очарованные души; но когда я в лесу осеннем, в желтизне,

---

[1] Клод Моне́ — известный французский художник (1840—1926).

[2] Западо́к — ловушка-клетка на певчих птиц с западными дверками.

[3] Лучо́к — приспособление для ловли птиц.

[4] Чернобы́л — разновидность полыни с красновато-бурыми стеблями.

[5] Межа́ — граница земельных участков.

в запахах листьев спелых, в прощальной грусти светлой не мог воздержаться от крика, чтобы вызвать эхо, Авдеич глядел на меня глазами строгого пекинского селезня:

— Ты ж это что, а?.. В класс пришёл?

И я смирялся.

Авдеич никогда не мигал веками... Рассмешить его ничем было нельзя, рассердить нельзя, удивить нельзя и напугать нельзя: окаменелость на шмыгающих ногах и с односложным разговором.

Водки он не пил.

Потому, что против моего увлечения птицами и Авдеичем ничего не имел мой отец, я думаю, что и отец его знал, хоть у нас в доме я никогда не видал Авдеича.

Авдеич был свой: пушкарский-то пушкарский, но в то же время лесной, значит, ничей; я, девятилетний, был тоже свой: домашний-то домашний, но в то же время слишком влюблённый в небо, и в поле, и в лес,— значит, тоже ничей. Это меня с ним сближало — малого со старым.

Я ревностно старался всячески помогать ему на охоте, а пока мы шли в лес, рассказывал ему о диковинных древних зверях, о путешествиях по пустыням, о всём, что я вычитывал из своих детских книг.

Он слушал, но едва ли мне верил.

.Помню, спросил он меня однажды:

— А как имя было тому зверю, который Ноя[1] ослушался и в ковчег к нему не пошёл?

Ничего не слыхал я о таком звере.

— То-то и есть... Не знаешь... С большими ро-

---

[1] Ной — персонаж древней книги легенд — Библии. Ной — человек, любимый богом, единственный из людей, кому удалось спасти себя и семью во время потопа. Он был предупреждён богом о грозящем бедствии и успел построить ковчег (корабль). Кроме своей семьи, он спас по паре животных и птиц.

гами был зверь и долго мог плавать... Однако по последствии времени и тот выбился из силов... Почему такое?.. Птицы ему на рога садились... Он их стряхнёт, они опять... Вот почему... А птиц летало тогда несосветимо... С тем и принуждён он был потопнуть бесчестно за гордость свою.

Позже встречал я много охотников из простонародья, и странное дело: их тоже не слишком занимали рассказы из длинной записной истории людей на земле, но коснись потопа — очень они оживлялись, точно вчера это было!.. И, кроме Авдеича, попадались мне большие знатоки этого события, но Авдеич был по времени первый.

Картуз[1] он носил очень поношенный и с красными кантами.

Я думал, что он прежде служил где-нибудь и это ему полагалось — картуз с красным кантом, как у многих чиновников... Но вот как-то на базаре увидел я его в птичьем ряду в картузе поновее и с синим кантом, как у брандмейстера...[2] Из этого я вывел, что просто форменные картузы Авдеичу нравились, и, может быть, где-нибудь в сундуке на особо парадный случай, завёрнутая от моли в газету, хранилась у него фуражка с зелёным кантом и почти новая.

Помню, о гадюках я его как-то спросил,— не может ли попасться нам в лесу. Но он ответил пренебрежительно:

— Попадётся ежели, наша будет... Её только за холку хватай и в раззявый рот ей харкни, будет совсем шёлковая!.. Страсть человечьих слюней боится.

Но если не по гадюкам, то по части птиц певчих был Авдеич немалый знаток.

Это он научил меня смотреть пойманному щеглу

---

[1] Картýз — мужская фуражка с козырьком.
[2] Брандмéйстер — начальник пожарной охраны.

в хвост и считать перья: если четырнадцатипёрый хвост — щегол-берёзник, дорогой щегол, не меньше, как полтинник, а если двенадцатипёрый — щегол репейный, цена ему в базарный день пятачок, и возиться с ним не стоит.

И для чижей была у него своя примета, но я уж забыл её, и для синиц тоже. Синиц он ценил только большеголовых, у которых полоса чёрная шла от шейки через всю жёлтую грудку, была нерваная, яркая и широкая... А когда с весенних проталин приносил десятки жаворонков, хохлатых и бесхохлых, он очень серьёзно разглядывал их каждого порознь, ерошил перья, распускал крылья, примерял на ногте хохолки и шпоры и рассаживал в семейные клетки — степняков к степнякам, лесняков к леснякам, полевых юл к юлам.

Жаворонки у него как-то очень быстро ручнели и перенимали голоса других птиц.

Часто, когда я бывал у него и кругом трещали в тридцати — сорока клетках птицы, он останавливал вдруг моё внимание:

— Слышишь, как вваливает?

— Зяблик?

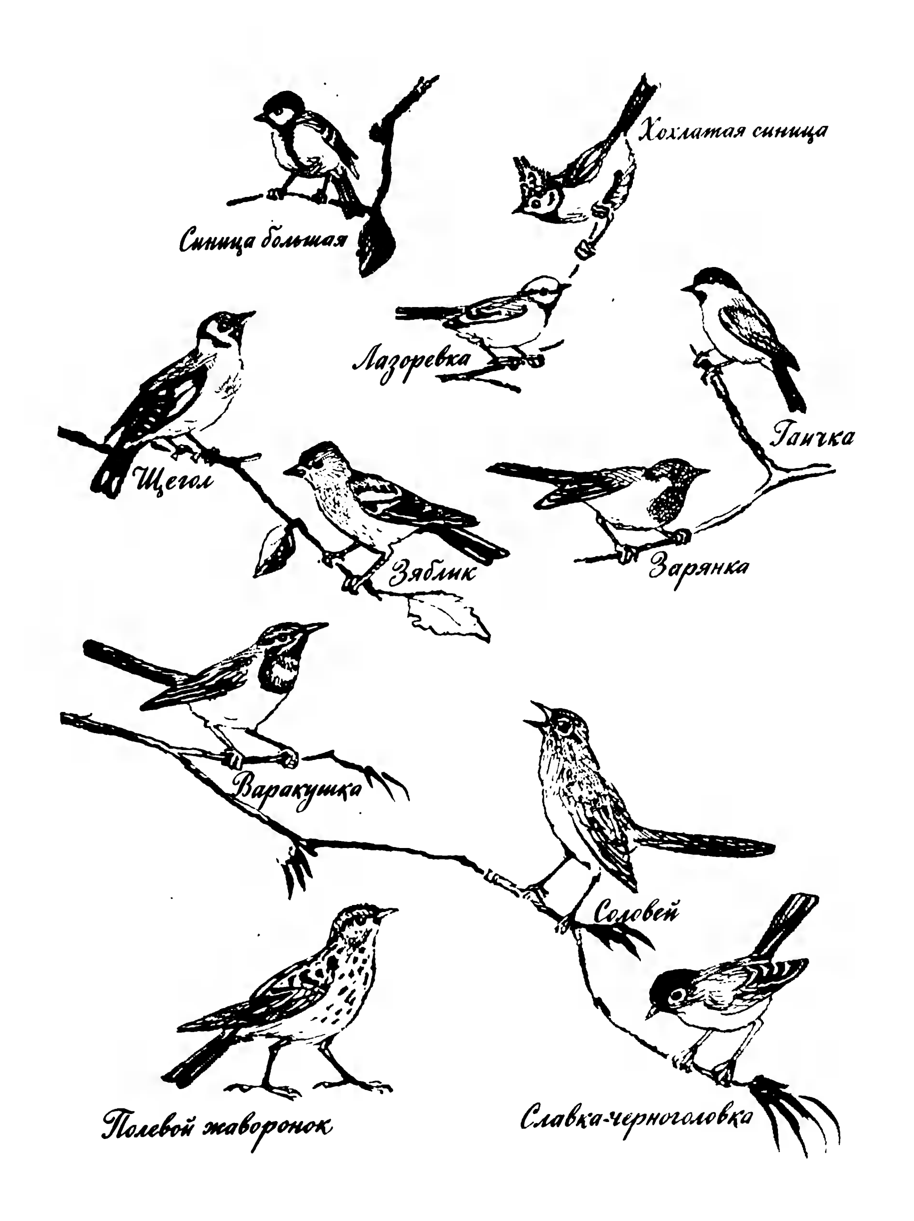
— От третьего слышу, что зяблик... А это и вовсе юла.

Сколько редкостных певунов у него было... Просто, даже так: нередкостных у него и не было — не держал с самого начала. Двенадцатипёрых щеглов выпускал, не донося до дому (но никогда там, где они попадались: расскажет другим, перебьёт охоту — в это он верил нерушимо).

Птичья ли осторожность, все ли вообще птичьи повадки привили ему уверенность в птичьем уме, но даже глупых чечёток, стаями попадавших к нему в понцы[1] зимою, он отнюдь не обвинял в глупости.

---

[1] По́нцы — перекидная сеть для ловли птиц.



— Попрыгай-ка по холоду, поди!.. Известно, чтó в петлю их гонит — нужда гонит.

И когда приходили к Авдеичу покупать птиц, достоинства их оказывались прямо бессчётны.

В нашем городе в те годы, о которых я вспоминаю, было что-то вроде поветрия любви к птичьему щебету, и Авдеичу не приходилось даже стоять на базаре: его знали и к нему шли сами на дом. И только на благовещенье[1] он выносил на базар большие клетки, полные пятачковых пернатых.

Покупатели птиц тогда — мягкотелые и мягкосердые женщины в тёплых платках — выпускали их на волю, чуть послушав, как трепетно бились их маленькие сердечки, смотрели любовно, сквозь слезы, как они улетали, и крестились усердно им вслед.

Ходил Авдеич без лишнего: всё на нём было пригнано впору и к месту, как на хорошем солдате.

За спиною мешок с западком и клеткой, за поясом сбоку два мешочка: один для себя с чёрным хлебом, другой — для птиц на подкорм, и в нём свои отделения: конопляное семя, муравьиные яйца, даже живые жуки; а на ремешке через плечо — лучок и понцы так, что приходились они с левого бока. Палку он брал только на всякий случай.

Лес к нашему городу придвигался близко именно со стороны слобод — Стрелецкой и Пушкарской. Тут ещё уцелели заросшие травою старые крепостные валы и рвы, а за ними, невдали, лес, но молодой, городской лес, не казённый; казённый же, строевой, с глухарями, медведями, волчьими стаями, начинался верстах в пяти.

Нужно было видеть и слышать, как Авдеич подманивал птиц... Куда серьёзнее, чем всегда, становился тогда этот старичок в форменной фуражке, и оказывалось там, в лесу, что он мог тоненьким

---

[1] Благовéщенье — религиозный праздник (25 марта).



пинькаиьем вводить в заблужденье далеко звенящих свиристелей, зорянок, реполовов... Он и цыфиркал по-синичьи, и чокрыжил по-соловьиному, и без перепелиной дудки мог как-то языком в переднее нёбо бить, как перепел-самец...

Спросил я его однажды:

— А какая птица лучше всех поёт?

И в первый раз Авдеич несколько лукаво прищурился:

— Есть такая.

Я задал вопрос не праздный: тогда не было ещё граммофонов, и в трактиры ходили на выбор послушать во время обеда то жаворонка, то соловья, то кенаря, то учёного дрозда, как в церкви ходили на дисканта[1]-исполатчика[2], или на тенора[3]-солиста, или пропойцу-октаву[4], который месяц пел, а два месяца лечился от белой горячки.

— Какая же?.. Ну, какая?

Мне просто хотелось знать, кого из своих певунов с бо́льшим удовольствием слушает сам Авдеич.

— Думаешь, соловей?

— Не-у-же-ли дрозд? — удивился я.

— Кто же тебе говорит о дрозде?.. О дрозде не толк...

— Славка?

— Славка, она спротив кенаря не может...

— Какая же?

— Есть такая...

Оглядел меня всего Авдеич, подумал, должно быть, стою ли я, чтобы мне ответить, и сказал всё-таки торжественно и чётко:

---

[1] Диска́нт — верхний голос; самый высокий детский голос.

[2] Исполатчик — певчий в церкви, который поёт приветствие высшему духовному чину.

[3] Те́нор — высокий голос.

[4] Окта́ва — очень низкий бас.

— Аракуш.

— Какой а-ра-куш?..

— Такой самый и есть... У соловья — да и то не с первой ветки, а у самого знаменитого — всего их двенадцать колен[1], а у аракуша — все двадцать четыре. Понял?.. Это на сколько больше?

Если хотел удивить меня тогда Авдеич, то он достиг цели: очень я был ошеломлён.

Я никогда не слыхал о такой птице, но я верил Авдеичу: если он говорил, что есть, значит, есть... аракуш.

— Где он живёт?.. В Америке?.. В Индии?.. Аракуш...

— Зачем в Индии? В Индии только индейки... У нас попадается...

— У нас?.. А у тебя почему же нет?..

— Поди-ка поймай, один такой...

— Почему не поймать?..

Авдеич посмотрел многозначительно и даже понизил голос:

— Скрывается... До чего скрытная птица... Только в дебрях таких живёт — не долезть... Очень человека не любит...

— А узнать его как?.. Какой он, ара-куш?.. А?

Оживился Авдеич:

— Кра-со-та! Ку-да супротив его соловей!.. Серяк... Вся грудь, как у генерала хорошего, в лентах: лента красная, лента синяя, лента муар...[2] Желтобровая птица... А хвост... хвост, почитай что весь бурдовый...

---

[1] Двенадцать колен.— Колено в пении или музыкальном произведении отдельная, выделяющаяся чем-либо часть. Двенадцать разных музыкальных частей-колен может исполнять соловей.

[2] Муáр — шёлковая ткань с разводами, переливающаяся на свету.

Покачал головою и добавил, как начал:

— Кра-со-та!

Первый раз видел я Авдеича возбуждённым.

— Отличон-разукрашен... Куда ж соловью... А ростом не больше... И хвостом дёргает, как соловей... И чокрыжит точка в точку, как он.

Дома не у кого было мне спросить.

Мать знала по части птиц лесных столько же, сколько знают все матери, а отец у меня был человек суровый и слишком городской.

Я и не спрашивал... Я только запомнил крепко: аракуш... Двадцать четыре колена... Грудь разукрашена...

Странное дело, узнав о такой необычайной птице, я разлюбил всех своих лозиновок, ремезов, кузнечиков, глушек и гаек.

Их трескотня болтливая даже раздражать меня стала.

Я начал смотреть на них с презрением девятилетнего человека, пронизанного мечтой.

По утрам я, правда, насыпал им в кормушки: кому конопляного семени, кому муравьиных яиц, наливал воды в их баночки, но пропало очарование, пропала серьёзность.

— Свистуны,— говорил я, кивая головою с большим сожалением, когда они в своих клетках прыгали, чирикали, трещали носами по прутьям.

Аракуш занял все мои мысли.

Я даже помню, слёзы показались у меня на глазах, когда я пенял Авдеичу:

— Как же ты не сказал мне этого раньше?

У меня не было сверстников, или мне было с ними скучно,— вернее последнее.

Так как мы жили совсем на окраине города, то я привык бродить один по осенним огородам, по каким-то ямам, оставшимся от бывшего давно кирпичного завода (в этих ямах росли изумительные

незабудки и анемоны[1] лиловые, которые Авдеич называл «сон-травою»), по болотцам в низине, в которых, кроме лягушек, конских пиявок и жуков-плавунцов, водилось очень много весьма занимательных тварей.

И однажды в июле я набрёл на пышный бурьян, для меня тогда показавшийся целым лесом.

За год перед тем была тут бахча[2], но теперь на взрыхлённом чернозёме (и лето тогда было дождливое) такой поднялся густой татарник[3], матово-зелёный, лохматый, с розовыми шапками цветов повсюду, непролазно-колючий, ростом больше, чем в сажень[4],— тот же лес, полный тайн и возможностей, которые только снятся.

И вот в этом бурьяне, на самой его опушке, я увидел аракуша.

Сомнений тут никаких и быть не могло: меня тогда точно в сердце кольнуло — он.

Я тихо и медленно обходил колючую стену татарника и вдруг услышал встревоженное, соловьиное: «Чок-крр... чок-крр...» Вскинул глаза — ярко-синее, ярко-красное, ослепительное, страшное, желанное, и всего один момент, и потом мелькнула коричнево-серая спинка и в гущине исчезла.

Я даже присел и закрыл глаза...

Было или не было?.. Может быть, показалось?

Однако через минуту где-то в глубине низом идущее «чок-крр... чок-крр...».

Как я ни смотрел, как я, царапая руки, ни заглядывал насколько мог глубоко в его царство — он не показался мне больше во весь этот день!..

---

[1] Анемóны — ранние луговые цветы; бывают белого, красного и лилового цвета.

[2] Бахчá — участок, засаженный арбузами или дынями.

[3] Татáрник — сорное колючее растение.

[4] Сáжень — старая русская мера длины, равная 2,13 м.

А на другой день, еле дождавшись рассвета, я вышел из дому, вооружась, как Авдеич: с западком в мешке, с муравьиными яйцами для прикорма, с лучком и с железной лопаткой, чтобы расчистить в бурьяне ток[1].

Я сделал всё там, в царстве аракуша, очень обдуманно.

Узкий и запутанный проделал вход в середину, чтобы только пролезть, чтобы никто мне не помешал, если будет проходить мимо; небольшой ток расположил я так, чтобы лучок мог закрыться, на какой-нибудь вершок не доставая до свисающих розовых шишек татарника; из обитых веток и стволов, очень толстых и крепких (я перочинным ножом едва их срезал), я сделал себе прикрытие — шалашик...

В этом шалашике, скорчившись, стараясь не повернуться, я его ждал.

Какая дремучая чаща был этот бурьян!.. Сколько здесь было необычайного!..

Но меня занимал только он, мой аракуш... Несколько раз мне удавалось на него взглянуть — только взглянуть: он мелькал, как молния... Раза два он садился на ветку татарника над током, но, донельзя осторожный, вздёрнув хвостиком, нырял в гущину.

Я ждал самоотверженно несколько часов — только глаза в щель шалашика да правая рука на бечёвку лучка.

Жарко было; от татарника шёл дурманящий запах; пчёлы гудели сплошь. Кузнечики (серенькие птички) стучали кругом вперебой, как молоточками, а иногда садились на мой ток клевать муравьиные яйца. Я их спугивал, чуть шевеля бечёвкой, и всё

[1] Ток — место, расчищенное птицеловами, где кроют птицу на приманку лучком, понцами, западком.

досадовал на себя, что насыпал только две пригоршни яиц: если бы больше, кузнечик, может быть, приманил бы и аракуша... Бойкие, вертлявые, куцые ореховки тоже прыгали на току, но приходилось сгонять и их: поклюют все яйца, и на что же тогда пойдёт аракуш?

Между тем он, аракуш, представлялся мне здесь же, совсем близко: невидимый для меня, он сидит и наблюдает за моим током и лучком желтобровыми, большими, как и у соловья, гордыми глазами... Пусть думает, что вся эта новость в его царстве только полезна для него, а не опасна: поклюёт он своё лакомство и слетит, как кузнечик, поклюёт и слетит, как ореховка...

У меня уже задеревенело всё тело и в глазах пошли круги от напряжения, когда он, мой аракуш, наконец сел на ток... Осторожный, он вспорхнул было тут же, но через минуту сел снова и начал жадно клевать.

И я накрыл его...

Я и теперь отчётливо помню ту мою радость, в которую даже не верилось в первый момент, от которой захватило дыхание, но передать её не могу — не вмещается в слова.

Помню, как я бежал к лучку, под которым присел ошеломлённый красавец. Конечно, я смотрел только на лучок, а не себе под ноги,— я за что-то зацепился, упал с размаху, сильно зашиб колено, но тут же вскочил и, добежав, накрыл его, вспорхнувшего под сеткой, своей фуражкой, а из-под фуражки просунул к нему руку.

У него колотилось сердце, как у меня...

Минуты две я приходил в себя, пересиливая радость...

Его нужно было посадить в западок, но западок стоял в моём шалашике, и я боялся: не донесу, выпущу из дрожащих рук.

Наконец сказал вслух:

— Принесу западок сюда... Выну — и в западок.

Помню, за западком шёл я боком, «примыкал», всё время косясь на лучок и свою фуражку, а с западком опять бросился прыжками к лучку.

Но, когда я вынимал аракуша из-под сетки и сажал в западок, я сделал это с великолепной выдержкой, не хуже Авдеича, и, заперев вертушку западка, я не забыл замотать её суровой ниткой, чтобы не открыл как-нибудь дверцу аракуш, когда начнёт биться.

А он начал биться сразу всей грудью.

До чего ж он был тогда горд, этот маленький король певцов...

Только что пойманные синицы бьются отчаянно: они мечутся, кричат, шипят, пробуют выломать спицы, клювом долбят дерево клетки изо всех сил и разбивают иногда головку до крови, но всё это как-то по-женски, скорее театрально, чем глубоко возмущаясь, и привыкают быстро. Сильно бьются жаворонки и юлы: эти растопыривают крылья, всё стараясь взлететь кверху, и ударяются о крышу клетки. Для них у птицеловов и свои клетки с холщовым верхом. Соловьи бьются, как маятники, равномерно: прыг-стук, прыг-стук, влево — раз-два, вправо — раз-два... Для соловьёв «заночняют» клетку со всех сторон чем-нибудь чёрным...

По-разному бьются разные птицы...

Но я никогда не видел, чтобы хоть одна билась так страшно, так беспощадно к себе, как бился аракуш. Он бился весь остаток дня и всю ночь, опрокидывая банку с водой, расшвыривая муравьиные яйца в кормушке.

Отец хотел выпустить его на волю, и утром я понёс западок со своей добычей к Авдеичу.

Я застал старика дома; он чистил клетки.

Западок с аракушем был у меня обёрнут старой

моей рубашкой, и я поставил его незаметно около самых дверей.

— Авдеич,— сказал я оживлённо, но не восторженно,— хочешь поймать аракуша?

— Всякий хочет,— отозвался Авдеич.

— Нет, ты скажи как следует — хочешь?

— Всякий хочет,— повторил Авдеич, подсыпая чижам семени.

— Ну хорошо... Пусть всякий ещё только хочет, а я уже поймал,— не мог выдержать я длинных объяснений.

Авдеич поглядел на меня очень внимательно.

Мне ли не хотелось его удивить? Но он не удивился и теперь, он только сказал:

— Мелешь зря!

Тогда я схватил западок свой и сдвинул с него рубашку:

— Вот он!.. Гляди!

Аракуш забился остервенело.

Я заметил, что у него уже сбиты перья на темени и голова в крови, но мельком это заметил. Я весь впился в белые глаза Авдеича: обрадуется? Удивится?

И сказал Авдеич презрительно:

— А-ра-куш тоже... Ка-кой же это аракуш?

— Не аракуш?.. А кто же?.. Кто же?..— вошёл я в азарт.

— Совсем даже и звания нет!

— А кто же?.. Говори, кто же?

— Называется — пёстрый волчок.

— Вол-чок?.. Что ты?.. Волчок... Не знаю я волчков!..

Я действительно от того же Авдеича отлично знал этих осенних птичек с красными грудками и хвостиками, вечно дрожащими.

— И видать, что не знаешь!.. Думаешь, простой волчок?.. Не простой, а тебе говорят — пёстрый волчок.

— Как так волчок?.. Лента синяя, лента красная — смотри! — кричал я, чуть не плача.— Ведь ты же сам говорил!

— Разве они у него так? У него, аракуша, они и вовсе не туда смотрят... Даётся он тебе, аракуш. А это — волчок пёстрый... Птица зрящая... Ни петь не будет, ни жить не будет... Пропадёт... Хочешь, оставь здесь, чтоб домой не таскать, я выпущу...

Каким это показалось мне тогда горем... Не аракуш, совсем не аракуш, король певунов, а всего только волчок пёстрый какой-то...

Я даже не оставался после этого долго у Авдеича, только рассказал ему, где именно поймал, в каком бурьяне, завернул западок опять как следует рубашкой и понёс домой.

Обедать мне не хотелось. Я упорно сидел и слушал, как бьётся моя птичка: может быть, слабее?

У меня всё-таки была маленькая надежда, что она привыкнет.

Но в этом Авдеич оказался прав: на другое утро аракуш мой лежал в уголку мёртвый.

Я вынул его тихо, полюбовался ещё раз его генеральской грудкой, поерошил осторожно на ней тонкие, как пух цветка мимозы, пёрышки и закопал под липой в саду.

Два дня потом я не ходил к Авдеичу и вообще никуда из дому. Но захотелось всё-таки на третий день опять проведать таинственный лес татарников: может быть, хоть услышу издали, как поёт, может быть, хоть увижу другого, живого и гордого красавца с расписной грудкой...

Я пошёл теперь без лучка, без западка,— и что же?.. На своём току, осторожно к нему пробившись, я увидел знакомый мне лучок Авдеича, а сам он сидел, приникши, в моём шалашике и махал на меня рукою: он ловил пёстрых волчков.



...Нет никаких пёстрых волчков, и нет никаких двадцати четырёх колен у скромной милой птички варакушки.

Но, может быть, и не обманывал меня старый Авдеич?

Множество лет прошло с тех пор, и я думаю теперь, что он искренне в это верил.

Я ушёл тогда, возмущённый моим стариком, я не понял тогда, зачем ему нужно было обманывать меня с тем же спокойствием, с каким говорил он мне до того свою правду.

И только теперь, когда целая вечность прошла, вижу, что он оберегал даже от меня, девятилетнего, свою мечту.

Должна была родиться мечта даже у Авдеича. Невыносимо без мечты... Тускло, тоскливо, очень душно...

Соловей, «словами поющий», двенадцать слов своих выговаривающий чётко и голосисто, в своём каком-то порядке и с огромнейшей к ним любовью, на тысячи лет заворожил человека... Общепризнанный друг влюблённых и поэтов... Кто из поэтов не воспевал соловья? Не было такого поэта...

Но Авдеич, седенький Авдеич, любивший фуражки с кантами, он возроптал... Он восстал!.. Он сказал себе самому: «Я тоже поэт, и я тоже — влюблённый... И я не хочу, чтобы соловей был пределом птичьей певучести!.. Верю и исповедую, что в глухих, неприступных для человека местах, украшенный синими и красными лентами на груди, хоронится, скрывается подлинная птичья красота и слава, ровно вдвое лучший певец, чем самый лучший из соловьёв, и имя ему — аракуш... Только тем и живу я, только тем и горд я, что о нём знаю... Только эта мечта зовёт меня и тянет, чтобы в моей комнатёнке тесной, мною пойманный и обручнённый, запел не какой-то соловей, и не пёстрый волчок,

и не варакушка, а настоящий аракуш... Вот, слышите, три-на-дцатое колено... И дальше и дальше... Побиты все соловьиные рекорды... Пятнадцать колен... Двадцать колен... Считайте, лучше... Двадцать два... двадцать три... Два-дцать че-ты-ре...»

Вынесены подальше на двор все остальные птичьи клетки со всеми этими жалкими дроздами, канарейками, соловьями... Греми, аракуш!.. Слушай, столпясь под окошком, пушкари и стрельцы... Затаи дыхание, запруди улицу, останови езду, чтобы ничто не мешало слушать...

Вы слышите теперь?.. Вот кто такой аракуш... А кто нашёл его, настоящего? Кто поймал?..— Авдеич... пятьдесят лет искал, а всё-таки нашёл... Вот вам и Авдеич...

Эй, старина... А-у-у-у!..

Ты жив, конечно, и теперь ещё, ты вообще бессмертен... Ты и сейчас, конечно, всё ловишь своего «аракуша», как я своего... Скучно было бы нам с тобою жить без «аракуша»... Какое — скучно... Сказал я тоже... Невыносимо нам было бы — хоть сейчас в гроб...

Авдеи-и-ч!.. А-у-у-у!..

— Руку, товарищ!

1926 г.



ГРИФ И ГРАФ

I

Коля Житнухин, мальчик лет пятнадцати, утром, когда, после сильного прибоя, утихло море, пошёл с мешком подальше вдоль берега, не выкинуло ли где камсы[1].

Близко к городу незачем было ходить: тут, конечно, чем свет всё было подобрано, и Коля забрался в глухие места. После долгого шторма странная стояла тишина, и море режуще сверкало, и берега пахли морем, а солнце грело, как греет оно в феврале на юге, когда небо чисто и не дует ни с севера, ни с востока.

Белые стада чаек паслись на голубом недалеко от берега; тем вероятнее казалось Коле, что вот выйдет он подальше за камни, на укромный пляж,— и вдруг яркая кипень сонной камсы, переброшенной

---

[1] Камса́ — небольшая рыбка, родственная сельди.

на взмыве какого-нибудь девятого вала... Расставь мешок и греби в него рыбу, как гравий...

Коля зашёл далеко, наткнулся на круглый мыс, который надо было огибать с тылу по чуть заметной козьей тропинке; а когда обогнул он его и новый кусок синеватого пляжа открылся,— сколько ни смотрел Коля, никаких ярких залежей камсы на нём не заметил, только совсем недалеко, снизу, шёл густой запах падали.

Тропинка к морю была тут очень крута и вилась между камней, угловатых, огромных. Но когда Коля высунулся из-за камней и брезгливо глянул вниз, он увидел орла на выброшенном дохлом дельфине.

Орёл-стервятник, истемна-серый, с голой, синей, как у индюка, шеей, рвал красные клочья дельфиньего мяса и глотал, тряся головою,— рвал и глотал жадно,— должно быть, сильно был голоден. Сидел он спиною к берегу и не заметил Коли, а Коля, едва только разглядел орла, весь насторожился, как дикарь-охотник, затаил дыхание и скосил глаза под ноги,— нет ли мелкого камня. Камень фунта[1] в три весом был, и он осторожно за ним нагнулся.

Круглый голыш, обточенный когда-то морем, ловко пришёлся к ладони и пальцам, Коля крикнул и,— чуть только орёл, оглянувшись, развернул крылья и подпрыгнул, чтобы подняться,— бросил в него голыш.

Крылья эти были слишком огромная цель, чтобы промахнуться,— и орёл не взлетел: он упал на бок на пляж рядом с падалью и забил одним только крылом, а другое подвернулось под него и вывернулось светлой изнанкой перьев.

— Попал! — крикнул Коля радостно кому-то — морю, солнцу или гранитным глыбам около себя — и сбежал вниз.

---

[1] Фунт — русская мера веса, равная 409,5 грамма.



От радости удачи он, дикарь теперь, перестал даже замечать вонь от развороченной туши дельфина. Он видел только орла, и орёл снизу, совершенно ошеломлённый, смотрел на него, как на свою гибель, и шипел разинутым клювом. Он упирался здоровым крылом в песок и грёб когтями, чтобы отскочить от земли и ринуться в надморье,— но мешало подвернувшееся перебитое крыло. Глаза его на момент испугали мальчика, он отступил на шаг.

А тут сорвалась с голубой воды чайка и очень удивилась тому, что случилось на берегу. Подхватилась косокрыло и пропищала над Колиной головой: — И-и-и!

И другая появилась за нею следом. И третья.

Кружились и визжали пронзительно:

— И-и-и!

Коля оглянулся — никого поблизости: пустой крутой берег, дохлый дельфин, чайки над головою — уже целая стая — и орёл с огненными глазами, лежащий навзничь.

Стало немного страшно, и мутило от вони.

— Ты, чёрт! — крикнул Коля, чтобы себя ободрить, и бросил в орла мешком, а когда бросил, покрывши им грозный клюв и прижатые к груди когти, то сразу решил вместо камсы принести домой орла. — Нет, брат, постой! — кричал он орлу, входя в азарт.— Ты не очень!

Он орудовал мешком, как маленький паук, к которому в сети попалась большая муха: подбегал и отскакивал, пытаясь набросить ему мешок на голову со страшным клювом, и набросил, и как раз в это время, преодолевши боль в крыле, поднялся на ноги орёл и стал по грудь Коле, а Коля сразу сзади одёрнул книзу мешок.

Мешок был джутовый, новый, крепкий и длинный. Орёл стоял в нём ослеплённый, растерявшийся, неподвижный.

— И-и-и! — необыкновенно выразительно визжали со всех сторон чайки, никогда не видавшие подобного: орла в мешке.

А Коля разгорячился. Он растопырил руки, кинулся на мешок с добычей, свалил его подножкой и очень ловко и быстро стянул бечевой орлу ноги, так что только чёрные когти, высунувшись из мешка, могли распускаться и сжиматься, а сами ноги не двигались.

Потом он схватил мешок поперёк, в охапку, и начал, поддерживая его коленом, карабкаться с ним вверх по той же тропинке между угловатыми гранитами, а за его спиной изумлённо визжали чайки и отравляюще вонял дельфин.

...Дом отца Коли, плотника Якова Кузьмича, был на отшибе. Не нужно было идти с мешком через весь город.

Чтобы орёл не задохнулся в плотном мешке, Коля прорезал финкой щель против его клюва и нёс мешок на спине, приладивши верёвки. И спина Коли скоро почувствовала теплоту и тяжесть орлиного тела и взмокла сплошь.

Только чёрный Абдулла-хромой, в бараньей шапке, встретился на берегу: бросал сеть на мелкую кефаль[1], отчаянно ковыляя. Но не хотелось ему показывать орла, обошёл его стороною.

— Э-эй!.. Чево несёшь? Ка-амса? — крикнул Абдулла.

— Камса! — крикнул Коля.

На косогоре в кустах встретились ребята, вышедшие с топорами и верёвками за дровами.

— Эй, Колька!.. Корчи[2] тягнешь? — крикнули ребята.

---

[1] Кефа́ль — морская рыба с удлинённым и сжатым с боков телом.

[2] Ко́рчи — выкорчеванные коренья.



— Ну да, корчи! — отозвался Коля и пошёл не останавливаясь.

А когда подходил к дому, возившийся в земле карапуз, трёхлетний братишка его, Ванятка, увидавши снизу в мешке орлиные лапы, очень оживился и залопотал:

— Пухук!.. Пухук!.. Пут-пух!.. Пух!..

— Ага!.. Петух, конечно, а то кто же,— согласился Коля.— Петушка тебе несу!

И только старшей сестре своей, Ксюте, старшей его и по школе на два класса, войдя во двор, где она кормила кур, сказал Коля устало, хрипло, но гордо:

— Живого орла притащил!

Ксюта поправила голой рукой ленту в русой косе и не поверила:

— Ври больше.

— «Ври»?.. А это тебе что? Цапля?

Развязал мешок и медленно начал стаскивать его кверху, открылся хвост подбитой птицы, концы крыльев, спина.

Но Ксюта не хотела сдаться: она даже не ахнула, точно ничего иного и не ждала от младшего брата. Она только ещё раз перевязала ленту в косе, забросила косу за спину, подобрала волосы с боков (их было слишком много для её небольшой головы, и они вечно занимали её руки) и только потом совершенно спокойно сказала:

— Разве это орёл?.. Это вовсе и не орёл... Это называется вовсе гриф, а совсем не орёл...

— Пускай гриф, а всё-таки орёл же!

— Гриф, тебе говорят!

Мать Коли была владимирская и говорила на «о», развешивая мокрое бельё на верёвке:

— Откуда это чёртушко такой?.. Да он, страшилище, кабы курей не пожрал!

И правда, куры уже кричали в испуге и мчались со двора прятаться в сарай.

А гриф со связанными ногами и повисшим крылом стоял на верхней ступеньке ветхого крылечка и медленно поворачивал голову, и когда маленький Ваня, войдя во двор, увидел, какой «пухук» стоит у них на крыльце, он заплакал и заспешил к матери.

Яков Кузьмич, человек уже старый, длинноногий и без трёх пальцев на левой руке, работал в соседней деревне и пришёл только к вечеру, когда гриф сидел уже в большой клетке, сбитой для него Колей из старых досок; сидел он копною, как сидят грифы на взгорьях, по морским берегам, неподвижно и в то же время наблюдающе зорко.

Сломанное крыло ему Коля пытался выправить, но оно, совершенно неподобранное, свешивалось ниже хвоста; бечёвку на ногах Коля разрезал ему ножом, осторожно просунувши для этого руку сзади, сквозь планки клетки.

Всегда приносил с работы Яков Кузьмич стружки и щепки и сваливал их в сарае,— так сделал он и теперь, не заметивши на дворе клетки. Но зато закричала и залаяла встревоженная собака, с ним вернувшаяся, Граф, наполовину гордон[1], наполовину дворняга.

Лай у него был громкий, так что Яков Кузьмич спросил его из сарая:

— Что, Грах, али кот чужой?

Войдя, увидел, что не кот, разглядел огромную птицу и попятился, а Коля, появившись на крыльце, сказал отцу важно:

— Видал, какой?.. Это я его камнем!

— Ты?

— Я.

— Камнем?

---

[1] Гордóн — одна из пород охотничьих собак.

— Камнем.

— Как же ты его допёр?

— Так и допёр...

Гриф смотрел и на этого нового длинного человека так же презрительно-спокойно, как смотрел раньше на его жену, дочь. Он даже шеи не вытянул, а стоял нахохлясь.

И так как все мысли Якова Кузьмича вот уже лет тридцать были направлены на то, чтобы добывать для семьи деньги, то он сказал наконец, подумавши:

— Кто же у нас чёрта такого могёт купить?.. Прежде бы какой господин богатый на чучело польстился, а теперь кто?

В это время Граф, переставший лаять, подбирался к клетке ползком. И вот, короткий, с рычаньем, бросок его к клетке, и тут же он отскочил с ошеломляющим плачущим визгом: это гриф, наблюдавший за ним, стремительно клюнул его в затылок.

Года три назад Графа звали ещё Графчиком, он был забавным щенком. С ним возились дети Якова Кузьмича, как все дети. Ему говорила Ксюта:

— Ах, Графчик, Графчик!.. Ка-кой ты замечательный пёс! Замечательнее тебя нет собаки на всей земле!

А Коля добавлял густым голосом:

— Даже нет и на всём небе!

Графу это нравилось: он жмурил глаза и сладко зевал от удовольствия. Поверил ли он в то, что нет собаки замечательнее его, но с другими собаками держался он необыкновенно важно. Грудь у него была широкая, голос трубный, шерсть густая, чёрная... Это был красивый пёс.

На больших хищных птиц, которые вились иногда над их двором и от которых неистово кричали куры, он привык смотреть, как на врагов: он бро-



сался за ними по косогорам и лаял, и казалось ему, что это от него они улетали, что это он прогонял их... И вот теперь, в сумерки, на дворе он визжал, как ошпаренный кипятком, катался по земле, перекидывался через спину, вскакивал, бросался к Якову Кузьмичу... У него точно вертячка, как у овец, появилась.

Все из дома выскочили на его визг.

На затылке Графа оказалась рана. Её промыли водой, приложили к ней мокрой глины. Собака крупно дрожала.

Когда промывали, Яков Кузьмич обращался к дочери:

— Посмотри получше: черепка он ему не провалил?.. Мозги не вылазят?

Коля бормотал:

— Сунулся!.. Вот и получил... А зачем было соваться?..

Графа уложили на свежей соломе, накрыли дерюжкой и весь вечер, пока не уснули, слушали, как он стонет по-человечьи, и по склонности человеческой кого-нибудь ругать — ругали Колю.

II

В утро этого несчастного дня Граф вышел из дому вместе с Яковом Кузьмичом и Колей, но скоро дороги мальчика и отца его разошлись,— надо было выбрать, за кем идти. Граф усиленно думал. Длинноногий хозяин пошёл сутуло, даже не взглянув на него, а мальчик звал его и хлопал себя по ляжке. Граф побежал за ним, чуть скуля и продолжая думать: куда может идти мальчик с мешком? Куда-нибудь близко, должно быть?.. А длинноногий хозяин,— он знал уже это,— пойдёт на целый день вёрст за пять от шоссе, и потом лесом горным, где всё так таинственно, и можно обежать

вёрст двадцать пять вокруг, пока хозяин прошагает пять. Представивши это, Граф на первом же завороте отстал от мальчика и стремительно бросился догонять Якова Кузьмича.

Пахло в это утро тончайшими запахами первых дней весны в долине, белыми подснежниками с гор, палым листом лесных высоких деревьев, ночлегами вальдшнепов, лисьими норами, барсучьим следом, совсем ещё свежим,— должно быть, только этой ночью прошёлся,— сыромятными, совсем ещё новыми постолами на одной из тропинок, подкованными ослиными копытцами на шоссе, рассыпанными кем-то сушёными грушами,— и разве можно перечислить всё то новое, что попалось ему в это утро под раздвоенный на конце, всё вбирающий, жадный до запахов нос?..

Он носился, взмахивал ушами, останавливался иногда, слушал, нюхал, смотрел, подымал ногу, кружил, рыл передними лапами, иногда лаял в чаще и сам изумлялся круглоте и упругости своего лая.

А в деревне, где провёл этот день Граф, такие были смешные псы с обрубленными ушами и заросшими сивым волосом мордами, что он глядел на них высокомерно, презрительно, через плечо и рычал предостерегающе, когда они подходили знакомиться, подымая ноздри и крутя хвостами.

В это утро гриф долго кружился над берегом, пока заметил выброшенного прибоем дельфина.

Распластанные на сажень крылья, носившие его уже тридцатую весну,— до чего же они казались ему прочными!.. Чуть шевельнул ими,— и вот уже перемахнул через Яйлу в степь, откуда море только едва синеет в дымках, и вон — направо — один большой город, налево — другой, прямо к северу — третий...

А внизу видно каждую овцу из отар, каждого зайца, барабанящего утреннюю зорю передними лапками на полянке... Но у овец ещё нет ягнят,— это будет через месяц,— а заяц забьётся в кусты при малейшем шуме над головой... Это не добыча — это только приманка для глаз.

Тридцатая весна, тридцатая весна!.. Тишина, ширина, и всходит солнце над огромнейшим морем... И, бросивши вниз раза четыре свой горловой клёкот, долго в это утро любовался гриф своими горами, своим морем и своим солнцем, пока опустился на свою добычу: кто мог бы отнять у него этот подарок ему моря к тридцатой весне? Никто, конечно.

Слабо, с перерывами, до полночи повизгивал Граф.

То он старался глубоко зарыть голову в солому, то вытягивал её и лежал оцепенело... Иногда он слышал, как мимо ворот пробегала чужая собака, но не пытался лаять. Даже ворчать он не мог.

Только часам к трём, когда очень посвежело в воздухе, бодрее стало в теле, оттянуло от головы. Повернул голову посмотреть, здесь ли эта страшная птица? Клетка стояла на прежнем месте, и птица спала в ней, издали безголовая, как все птицы, когда они спят. Попробовал разжать челюсти. Отдалось режущей болью в затылке, но вытерпел. Так сжимал и разжимал челюсти несколько раз... Захотелось пить.

Мелкий дождь начал быстро сеяться, но — не успела ещё намокнуть шерсть — перестал. Как всегда по ночам, пробунел за окошками кашель хозяина. В таких случаях срывался с места Граф и мчался к воротам, лая, чтобы показать, что он не спит, стережёт. (И Яков Кузьмич понимал его и бурчал о нём: «Ишь, стерва, зарабатывает!») Но

теперь «зарабатывать» не поднялся Граф, промолчал.

Самое обидное для него было, что ударила его так больно *птица*. Ещё когда он был щенком, он помнил на этом же самом дворе злого старого селезня с зелёной головой, который тоже пытался нападать на него с разинутым клювом и шипел при этом, как змея. Но ничего не стоило, отскочивши, ухватить его за жёсткую шею и трепать его по всему двору, так что летели пух и перья, и кто-нибудь из дома бежал его отбивать. Потом, когда он подрос, все птицы его боялись, и, когда он бросался на эту страшную птицу, разве он думал, что она осмелится его клюнуть?

Очень хотелось пить.

Под трубой водосточной стояла кадушка, из неё лакал часто воду Граф, подымаясь для этого на задние лапы. Попробовал сделать это теперь,— тихонько встав, продвинулся к ней, но подняться не мог — сорвался. Постоял с минуту, приходя в себя, и медленно побрёл искать глиняную миску с водою для кур, обложенную со всех сторон камнями, чтобы куры не могли её опрокинуть. Нашёл; вода там была мутная и скверно пахла, но всётаки полакал и стал крепче в лапах. Попробовал даже встряхнуться.

Ему самому нравилось всегда, и, он заметил, нравилось детям хозяина, как он, тряся головой, хлопал лопушистыми ушами, точно хлопушками. Но теперь он встряхнулся только спиной и боками — голову он берёг. Посмотрел искоса на небо: луны не было видно, только звёзды, и облака бежали по ним проворно. Дул небольшой ветер, и скрипело около дома дерево — старый можжевельник с шишечками не больше горошины, который всё собирался срубить хозяин и всё не мог собраться. Но скрипело оно теперь до того жалобно, что Графу захотелось поскрести за ухом. Присел было и поднял

уже заднюю лапу, но опустил. Скрипи, скрипи, можжевельник! Скрипи, проклятый!..

На клетку со страшной птицей Граф смотрел только мельком: глянет — и отведёт глаза, как молнии.

Медленно переставляя ноги и держа голову вниз, Граф обошёл вдоль забора и сарая весь двор. Посидел около ворот и, так же медленно, но держась ближе к клетке, ещё раз обошёл его.

Гриф спал плохо.

Он спал по долгой привычке спать по ночам,— это была старая птица. Он спал от тяжести в зобу, как всегда даже и днём засыпал на время, если наедался плотно. Но сломанное крыло ныло и рвущей болью отдавалось иногда и в спине, и в подвёрнутой шее. Тогда огромная, в полтора аршина высотою, птица вздрагивала и переступала лапами.

Это был одинокий гриф, ещё не искавший себе самки на тридцатую весну. То, что случилось с ним на морском (своём) берегу, на туше своего дельфина, поразило его чрезмерно. Всё остальное — и мешок, и эта клетка, и это человечье гнездо, и люди, которых он видел так близко днём, и чёрная собака, которая к нему кинулась вечером и которую он ударил клювом,— не могло уж поразить его сильнее.

Он не бился в своей клетке даже и с вечера, так как понимал, что не нужно это, что ему нужен покой, а не бесцельные движения. Голод его не мучил, и он мог ждать, что с ним сделают дальше.

Он даже чувствовал смутно, что собака, которую он клюнул и которая так визжала пронзительно и валялась в ногах у людей, что она теперь уже не визжит, не валяется, а бродит по двору, но о ней он не думал. Он думал только о том человеке, который подобрался к нему на берегу так близко, что мог его ранить.

Людей, которые в его горах рубили толстые буки и свозили их вниз, он не боялся, но он не любил их: после них оставалось в лесах так много плешей, с гладкими пнями вместо уютных деревьев. Случилось даже два раза в его жизни, что он рвал и ел двух мёртвых людей, убитых другими людьми, но дельфинье мясо казалось ему нежней и сытнее.

Граф бродил по двору, с усилием ставя ноги, усиленно втягивая в себя все давно знакомые запахи: стружек старых, лежалых, и стружек новых, только вчера принесённых; кур, сидевших в сарае на насесте; глубоко влипших в сырую землю следов от ног Якова Кузьмича, и жены его, и Ксюты, и Коли, и маленького Ванятки (все пахли посвоему, очень разнообразно); мокрых досок, снизу покрывшихся белой плесенью, мокрых стояков, снизу подгнивших и источенных жуками, и много ещё... Вслушивался в то, как и кто из знакомых собак на улице лаял: кто по одной только собачьей обязанности и кто от сердца... Ясно было, что никто из лихих людей не ходил около домов... Совсем не было теперь лихих людей, никого и нигде снаружи... Была только лихая птица, и она здесь, на дворе, в клетке.

Медленно и тихо, очень медленно и тихо, поднимая лапы и ставя их по-кошачьи мягко, подкрался Граф на два шага к клетке и смотрел. Птица спала. Он придвинулся ещё на один шаг — просто подтянулся, распластавши ноги, и замер. Если бы ктонибудь в доме хотя бы кашлянул во сне!.. Но даже и Яков Кузьмич устал, наконец, бухать, а остальных редко бывало слышно по ночам.

Глазами, горящими в темноте, пересматривал Граф все планки клетки: ему вспомнилось, что одна треснула и подалась под ним, когда он бросился. И вот он её увидел. Она была надломлена посредине и даже разошлась немного. Все планки были из вет-

хих тёмных досок, но эту он и с вечера выбрал не зря: эта показалась ему и тогда самой гнилою. Он и тогда подумал, что проломит её своею грудью, и вскочил: такой был напор тогда силы, что дощечка эта показалась ему куском серого картона.

Скрипел можжевельник о крышу... Долго ты будешь скрипеть?.. Скрипел можжевельник, но птица спала,— не нужно было затаивать дыхания.

Часто отворял двери с крыльца в комнату Граф, упираясь в них передними лапами. Надавит, и подаётся дверь. А один раз он потянул к себе дверцу шкафчика в сенях, и она тоже открылась. Там было холодное варёное мясо на тарелке. Он знал, что нельзя это, но как же утерпеть? И выпросить у кого же было, когда никого не было около? Взял мясо, вынес в сарай и там, в углу, за ворохом стружек, съел. Он думал, что подумают не на него, а на кошку, и сначала действительно били кошку, и он сам на неё рычал, но потом догадались почему-то, что это он, а не кошка, отворил дверцу, и его больно несколько раз ударили ремнём с пряжкой, так что пришлось опрокинуться на спину и повизжать.

И вот, как дверцу шкафчика, Граф осторожно отодвинул нижний конец сломанной планки правой передней лапой вправо и книзу.

Очень застучало в голову,— чуть не завыл от боли, но стерпел.

Припал к самой земле, боясь глянуть на птицу, а когда поглядел, даже поднялся и презрительно повёл хвостом: гриф не вынимал головы из-под здорового крыла, гриф спал... Спи, спи!

И, уже стоя, тихо, концом морды, Граф отвёл верхний конец сломанной планки влево. Пролом вышел широкий, свободный, шире его груди...

Но тут петух в сарае захлопал крыльями — и отскочил Граф.

И пока орал своё предутреннее петух, Граф стоял

ошарашенный: птица вынула голову, птица вытянула шею, птица смотрит!

Замолчи, проклятый!

Птица смотрела подслеповато, как старуха, ныряя в темноте голой шеей в одну сторону, в другую, в третью...

У Графа так заныл раненый затылок, что он лёг. Земля пахла куриными пальцами. Из трубы в кадушку капала вода с выдержкой: капп... капп... капп... Поскрипывал можжевельник.

Но вот коротко кашлянул Яков Кузьмич. Приказал, а не кашлянул. Всё собранное в оскорблённый комок чёрное существо Графа только ждало приказа оттуда, из-за окошек.

Ещё раз кашлянул коротко: кси, кси!..

И Граф зарычал, подымаясь.

Новое, необходимое: кси, кси,— и точно кнутом ударило Графа сразу по всем напряжённым жилам. Окаменел хвост. Шерсть на спине встала щетиной...

Точно совсем не прерывалась борьба со страшной птицей, точно не было ночных часов, точно только что ударила она его клювом, а он отскочил, Граф упруго подобрался снова к грифовой клетке, на момент задержался перед проломом в ней, только захватил глазами ныряющую голую шею, хрипнул, оскалил зубы и кинулся внутрь.

От стремительного прыжка опрокинулась клетка и легла плашмя, и оттуда по двору рычание, визг, придушенность — звуки борьбы последней.

А в доме спали, и можжевельник усыпляюще поскрипывал веткой о ржавый угол крыши.

III

Какое новое утро настало благословенное!

Только что отслоились, осели из розовой мути горы по сторонам, всё мягкие ещё и зыбкие в

очертаниях, только что упало вниз и чуть заянтарилось и чуть залиловело море вблизи, ещё не вспомнившее о досадном дневном горизонте, а чайки — беспокойный народ! — уже развизгивали-раззванивали по всему побережью сложенную ими вчера балладу о том, как безусый тонкий человек унёс в рыжем мешке большого грифа, одного из самых больших и самых старых грифов в этом краю.

В это время рыбаки — семь человек на баркасе — только что отчаливали от пристани, готовясь плыть вёрст за шесть в море, смотреть крючья, вчера — чуть стих прибой — поставленные на белугу.

В это время от прибрежных камней, покрытых львиной рыжей шерстью водорослей, отплывали в места поглубже ночные разбойники — морские ерши, все состоящие из огромной пасти, ненасытного брюха и колючек, прочных, как копья.

В это время сторож, потушивший маяк, всю ночь мигавший переменными огнями, торопливо переругивался со стариком, уборщиком улиц, спешившим на колченогой лошадёнке до полного рассвета смести и вывезти конский навоз с белой набережной.

И ещё — в это время рано встававший, чтобы не опоздать на дальнюю работу,— Яков Кузьмич вышел на крылечко умыться и, развозя по волосатому лицу воду из кружки, вспомнил про раненого Графа.

— Грах! — позвал он тихо.— А, Грах!

Но Граф не подошёл. Графа не было на соломе. Только из клетки, очутившейся уже на середине двора, твёрдо вылезала его задняя лапа, упёршаяся в землю и неподвижная.

Бормотнул Яков Кузьмич с недоуменной тоской и большой горестью:

— Ну, не проклятая ли птица!..

И, не кончив умываться, с засученными рукавами, с мокрой бородой, стал над клеткой, сверху смотрел на эту лапу чёрную, качал головой.



— Эх, Грах ты мой, Грах любезный!

Чёрная лапа закоченела.

Вынимал он потом из клетки Графа и грифа вдвоём с Колей. Перебитое крыло орла висело на одном сухожилии. Когтей его, зажавших рёбра собаки, нельзя было разжать, как нельзя было разжать пасти Графа, зажавшей его голую шею.

Один глаз собаки был выклеван, другой открыт и блестел тусклым стеклом.

Глаза птицы потухли. Перья на груди сбились в кровавый ком.

С пухлыми от сна веками, подслеповато хмурясь и отбрасывая волосы, стояла Ксюта и по-отцовски качала головой в сторону Коли.

— Да до-ро-гая ж ты моя собачка драгоценная! — причитала на «о» её мать со слезами в морщинках около широкого носа.

Поглядел на неё Яков Кузьмич, почесал в бороде, хекнул коротко и ударил Колю двупалым кулаком в спину.

Грифа не пожалел никто.

1927 г.

10 коп.

ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

АРАКУШ

Рассказы

ИБ № 9192

Ответственный редактор *Н. П. Посвянская*
Художественный редактор *Б. А. Дехтерёв*
Технический редактор *Т. П. Тимошина*
Корректор *В. В. Борисова*

Подписано к печати с готовых диапозитивов 22.08.84. Формат 60×90[1]/16. Бум. офсетная № 2. Шрифт литературный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3. Усл. кр.-отт. 3,5. Уч.-изд. л. 2,09. Тираж 1 000 000 экз. Заказ № 2946. Цена 10 коп.

Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.